



НА ПУТИ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОЛНОТЕ

Первые шаги А. Губина на литературном поприще отмечены творческой смелостью, я бы сказала, даже дерзостью. Предстал он перед читателем с тем, чем, пожалуй, естественнее было бы завершать какой-то значительный этап творчества — с рассказами о великих людях («Афина Паллада»). Приобщение к духовной жизни великих мира сего — задача в высшей степени сложная. Но решительность, с которой Губин вошел в этот мир, свидетельствовала о том, что чувствовал он там себя достаточно свободно.

И вот новая книга писателя «Молоко волчицы» (увидевшая свет сначала в журнале «Октябрь», потом в издательстве «Советский писатель» и, наконец, в наиболее полном объеме в Ставропольском издательстве). Знакомство с нею прежде всего оставляет то же ощущение — творческой дерзости. Писать о казачестве двухтомный роман-хронику, охватывающий по времени добрую половину нынешнего века, писать после Шолохова — от одной мысли об этом дух захватывает, словно бы, стоя у подножия Эльбруса, бросаешь взгляд на его вершину.

Очевидно, Губин искал свои тропы возле дороги, проложенной первейшим мастером советской прозы. Нашел ли? Сумел ли, как хотел, написать на материале историческом книгу современную, добрался ли до жилоносных пластов жизни человеческой, где таятся ценности непреходящие?

Я не собираюсь давать ответов на

все эти вопросы. На них ответит время и читатель. Просто хочется поразмыслить над книгой, которая не может не вызвать самых разноречивых мыслей. О чем она? Ответ напрашивается простой — о казачестве, о том, как приняло оно революцию и новую жизнь. Сам жизненный материал, взятый в основу книги, как бы подтверждает эту мысль: события происходят на Тереке, герои — терские казаки. Обычаи, нравы, сама история казачьей станицы, ее быт, революционные конфликты занимают большую часть романа-хроники, описаны красочно и сочно. Нельзя не верить в достоверность всего этого. И все же сам Губин на встрече со студентами Ставропольского пединститута сказал, что роман «Молоко волчицы» — прежде всего о губительной власти собственности над душой человека, что сначала в его творческом воображении родился Глеб. Казачество, как сам он говорил, появилось потом.

И название романа, и его построение убеждают в том, что Глеб — фигура центральная и направляющая. Однако, чем далее, тем более ощущаешь, как входят в свои права братья Глеба — Спиридон и Михай, особенно Спиридон, и их красочное окружение; достаточно вспомнить такие колоритные фигуры, как красный казак Денис Коршак или местный пророк Анисим Лунь. Создается даже ощущение, что казачья тема связана именно с братьями Глеба, а не с самим Глебом, о котором сказано как-то, что было «от казака в нем одна каракулевая шапка». Действительно, Глеб поражает своей

отрешенностью от казачьих интересов. К жизни, что бушует вокруг него, у Глеба одно отношение, — насколько может он устраивать свои коммерческие махинации и извлекать пользу из обстоятельств. Специфически казачье, сословное, связанное с уродливо понятой, но глубоко прочувствованной патриотической идеей, словно бы не волнует его. В отличие от других казаков, безразлична ему воинская доблесть.

О характере Глеба Губин говорит так: «Три сердца бились в теле Глеба — жадность, страх и любовь. Одолевало то одно, то другое, то третье. Иногда сразу бились все три. Иногда два».

Жадность доминирует в нем. Тут следует сказать, Губин достиг большого мастерства — его Глеб Есаулов — гений стяжательства, вернее, гений-неудачник, так как жизнь ставила на пути его помехи ежечасно. И хотя погиб он от руки «своих», — уничтожили его прежде всего как собственника-конкурента, а потом и вообще как человека фашисты, — обречен он был самым ходом истории. Не только миром волчьих отношений, где слабейшему — пропасть, но прежде всего большим миром социализма, утвердившимся на родной ему земле.

Стяжательство, жадность, скаредность доведены в нем, действительно, до своеобразного артистизма. Они пронизывают весь его облик, каждый поступок, каждую мысль. Выбирая доски на гроб дочери, которую сам погубил своей жадностью, скорбя искренне, он не может, и тоже с немалой горечью, не пожалеть, что была она «ростом в мать». «Долго с неудовольствием думал: умри дочь на год раньше — доски бы подошли, а теперь придется губить шестиметровую сороковку. Правда, бывают ошибки у плотников, а тельце подогнуть можно, но он на это не пойдет — пусть гроб будет просторным». Вот она щедрость скряги!

Задумав, наконец, решительный шаг, — жениться на Марии Синенкиной, от которой имел уже троих детей, каждую трату на любимую не подсчитал — прочувствовал: «невеста в золотых

серьгах с камушками — у нее же выменял на хлеб, в туфлях на высоких каблуках — три фунта сала, в панбархатном платье — ведро отрубей». Как раковая опухоль, проросла скупость все человеческие чувства Глеба. Даже приверженность к труду, даже любовь пропитались плесневой затхлостью мелких расчетов. А ведь любил Марию, пронес любовь-страсть через всю жизнь — до самой смерти. Так и прошла она с ним рядом — в мыслях его до того оврага, где кончил он счеты с жизнью. Это одна из самых сильных сцен в романе. Но и тогда, в последнее мгновение, когда вели его немцы на расстрел, победило другое. Горячечные воспоминания о любимой перемежаются неотступной мыслью, что терзала его в последние годы. Все казалось, что кто-то не вернул ему долга. И вдруг — предсмертное озарение, спугнувшее «воспоминание о первой и единственной любви», — «он вспомнил все же: дядя Анисим! Вот кто должник! В голодный двадцать первый год пророк занял у него полмеры ячменя, а потом Анисим Лукьяныч смолчал, зажил должок... На миг стало выпренье легко... А ведь это они стрелять меня привели! — тут же осенило Глеба — радость не хотелось терять. Предсмертный ужас грубо перехватил дыхание, стиснул душу. Мелькнуло спасение: вот если бы все гибли с ним, тогда ничего, легче. И он крикнул, но поздно — никто не услышал его: «Конец света!»

Жизнь скряги, труса оборачивается трагедией. Ушел человек из жизни и ничего не оставил по себе, кроме одного непоплаченного долга. И в первый раз подумал, что тяжело одиночество, захотел общения с людьми — хотя бы в смерти. А ведь было в нем и другое, человеческое. Вот она, та полнота воспроизведения жизни, что, может быть, и является подлинной целью искусства.

Толстой считал, что писатель должен не только знать твердо, что будет свершаться в его произведении, но так верить во все это, «как будто оно есть, как будто я живу среди него». Писателя,

не владеющего этим мастерством, называл он «неполным художником». Такая художественная полнота рождает целостную картину жизни, в которую читатель поверит, как в подлинную реальность.

К художественной полноте воспроизведения жизни труженики слова стремятся неустанно. И нельзя не радоваться, когда встречаешься с нею. А, Губин, очевидно, принадлежит к числу тех писателей, сама творческая манера которых предполагает совершенствование именно в направлении все большего овладения художественной полнотой письма. Читая его роман, не раз испытываешь чувство удовлетворения от добротнo выписанных сцен, пластично вылепленных характеров. В значительной степени это относится к образу Глеба Есаулова. Взаимопронизанность страстей и особенностей натуры, а не однозначное их выявление, взаимопронизанность, без которой нет диалектики и многообразия человеческой души, создает прежде всего в романе А. Губина ощущение подлинности. Но где-то вдруг словно наталкиваешься на неожиданные провалы, и тогда это ощущение подлинности исчезает и проглядывает нечто совсем иное.

Как уже говорилось, в романе специфически казачье связано более с образами других братьев и их окружения. Глеб словно бы не врос корнями в эту почву, словно занесло его сюда, как перекасти-поле, неведомым ветром. Но, позвольте, могут возразить мне, разве собственническое начало не было выражением казачьих сословных предрассудков. В. И. Ленин, неоднократно давая характеристику казачества, выделял разные его стороны, отмечал и то обстоятельство, что казачество было самым обеспеченным землей сословием, (См. работу «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов».) В конечном-то счете сословные предрассудки и объяснялись преимуществами, которые имели казаки и

прежде всего преимуществами в отношении владения землей.

Это обстоятельство словно бы отчеканилось во всем облике Григория Мелехова, образе синтетическом и обобщающем при всей его индивидуальной неповторимости.

Губин этим путем синтеза не пошел. Он избрал свою дорогу, дав характер собственника по преимуществу, в котором сословное начало выражено очень слабо. Путь такой возможен. Но даже малый отход от конкретных обстоятельств, в которых сложился характер человека, как увидим далее, чреват опасностями.

Прежде всего заставляет поспорить с писателем объяснение Глебовых стяжательских страстей, которое дает писатель.

Страсть к накопительству, гипертрофированная, возросшая до патологии, рождает в романе соответствующую символику. Образ бронзовой волчицы с тяжелыми сосцами, легенда о Глебе, испившем в раннем детстве молока настоящей волчицы, постоянно звучащий мотив волчьего начала заставляет искать во всем этом общий смысл: «волчье», т. е. отрешенное от людей, от народа, индивидуалистическое.» «Волчье» — для читателя это прежде всего символ, рожденный определенной привычкой воспринимать того или иного обитателя животного мира. Эта символика давно укоренилась в искусстве. И если бы здесь Губин поставил точку, никаких возражений не возникло. Что и говорить, символ хотя и не блистает особой новизной, но бесспорно сильный. К сожалению, Губину потребовалось зачем-то буквальное толкование его символики. Источники основ характера Глеба стал искать он не столько в крестьянском, казачьем его нутре, сколько в звериных инстинктах, затаившихся в человеке, в большей или меньшей степени.

В романе рождается соответствующая концепция человеческой личности. Михей выразил ее наиболее определенно. Он рассказал

притчу, по которой, когда образовался человек, то многое ему досталось от зверя. «Зверье в нем осталось. Один писатель сказал, что всю жизнь выдавливал из себя по капле раба. А я выдавливал из себя зверя». Жестокости казаков он пытается объяснить звериным началом в них. Можно бы сказать, что это точка зрения одного из героев. Но сам писатель многое в Глебе пытается объяснить именно наличием этого звериного начала.

Припадки злобного бешенства, возникающие в адрес тех, кто мешал развернуться его предприимчивости в накопительстве — будь то Советская власть или конкуренты — немцы, Губин объясняет «бунтом подкорки, где в темных пещерах злобно мерцают глазами инстинкты тигра, обезьяны и свиньи». (См. т. 2, стр. 95, 269).

Что-то жуткое, роковое, пещерное проглядывает в Глебе, когда мечется он по лесу с «рычаньем и сам себе кажется волком. Лесные тайны околдовывали, тянули назад, в сутемь. Тело гибельно ожидало прыжка извне и яростно жаждало сплетения с гибкими глазастыми существами».

Здесь уже не символика, а определенное представление о структуре психики человеческой личности.

Обвинять во всех грехах человека звериные инстинкты, поднимающиеся из первобытных глубин психики, а не окружающую социальную действительность, до сих пор модно в буржуазном мире, где одним из основных направлений в современной психологии стал фрейдизм. Влияние окружающей социальной среды, существующей многие века, он объявляет бессильным в сравнении с этим голосом вечности.

В двадцатые годы некоторые советские психологи — да и писатели — отдали дань подобным представлениям. Это сказалось прежде всего в трактовке подсознательного как темных животных инстинктов, извечно, живущих в человеке и подавляемых сознанием.

Общеизвестно, что такое суждение в корне противоречит тем

представлениям о личности, что дает современная советская психология, основанная на марксистском понимании человека и его жизни. Открытия Павлова дали достаточно опорного материала для материалистического подхода к так называемому подсознательному.

Звериное в Глебе, воспринимаемое сначала чисто символически, начинает в романе проявляться в подлинном его виде.

Здесь утрачено чувство меры, чувство реальной жизни, здесь возникает то, что сразу рождает ощущение патологии, чего-то идущего не от жизни в ее социальной конкретности, а от надуманных философских посылок. Такая трактовка центрального персонажа наносит ущерб и композиционной стройности романа. Образ Глеба словно выпадает временами из общей структуры романа.

Можно было бы всего этого не заметить. Ведь сила образа, которую бесспорно чувствует каждый, способна заслонить его слабые стороны. Но стоит ли умалчивать о том, что может стать грозной опасностью, дай ему только разрастись. Разве не свидетельствует об этом неудача Вс. Иванова и его «Тайное тайных» в 20-е годы, когда подобная тенденция давала не раз чахлые всходы ложного психологизма. Поэтому пусть не посетует Губин. Это не столько укор, сколько предостережение.

Если считать «Молоко волчицы» романом о казачестве, то подлинные его герои — Спиридон и Михей.

Михей интересен более всего как воплощение основного пути казачества. Немало удачных сцен, связанных с его судьбой, отражают судьбу казачьей станицы. Наиболее значительно выписана смерть этого рыцаря революции. Интересно намечена эволюция Михея, рождение в нем более глубокого, вдумчивого восприятия жизни, проявившегося в общей линии поведения и прежде всего в отношении к брату и к Горепекиной, о существовании образа которой говорит достаточно ее фамилия.

Самая значительная удача писателя — Спиридон Есаулов. Не случайно именно его образ венчает книгу. Умер Спиридон, завершилась книга.

Спиридон — это тоже рыцарь без страха и упрека, рыцарь своего сословия. И в этом трагизм характера, в этом его сложность. Семья Есауловых никогда не была богатой, и Спиридон вырос, в отличие от Глеба, словно бы начисто лишенным собственнических инстинктов. «Чего хотел он сам? Богатства? Не замечалось этого за ним — он «за хорошую песню все золото отдаст», — думал он сам о себе. Можно сказать, что он, как и Глеб, не столько выражает целостно тип казака, сколько определенные черты этого типа. Стала его долей воинская слава, да шашка казацкая, что так и легла с ним в могилу.

В черновом варианте был эпизод, который автор не ввел в окончательный текст, — сцена вручения казацких шашек молодому пополнению. Эта сцена многое объяснила в судьбе Спиридона, да и не только его. Обставленная с максимальной торжественностью она весьма внушительно характеризовала политику правящих классов в отношении казачества. Ведь были не только привилегии, у них был и свой ритуал, были свои обычаи, вера в нерушимую святость которых воспитывалась веками.

Спиридон — натура поэтическая и в значительной степени восторженная — уверовал в извечную непреходящую ценность этой стороны казачьей жизни. Родина и долг — вот его святыня. Когда советский следователь спрашивает его, почему воевал он против Советской власти, он ответил: «Порядок был такой... Не от бога власть... Царю присягал».

Трагедия таких, как Спиридон, в значительной степени отражает трагедию целого сословия, превратившегося из носителя мятежного духа народной революционности в опору контрреволюции, из носителя прогрессивных тенденций истории в ту самую палку в ее колесе, которую она не могла не сломать.

Как несовместимо, казалось бы, сплеталось в этом сословии истинно народное — любовь к труду, мужество, доблесть и пренебрежение к себе подобным, тупая жестокость и ярость.

Общие для крестьянства процессы социального расслоения проходили и здесь, но совершались сложнее и труднее. И лишь вырвавшись из все сужающегося кольца сословных предрассудков, находило трудовое казачество свой путь — путь с революционным народом.

Спиридон вырваться не сумел — до тех пор, пока не преодолел бездумную покорность вековым традициям.

Полна трагизма сцена расставания казаков с родиной. Как ее добрые руки, тянутся к ним покинутые на берегу лошади, вплавь догоняют они своих вероломных хозяев. Это в лицо родины направляют казаки свой последний залп, расстреливая верных лошадей. В лицо родины, но и в лицо самим себе. Кончалось вместе с лошадиной статью и старое казачество. Дальше начиналось волчье. Снова вернувшись на родину, запрятавшись по норам в лесах и горах, действительно превратились такие, как Спиридон, в волков.

Здесь символика точнее, она лишена тех оттенков, о которых шла речь в связи с образом Глеба. Оторванность от народа, от его судьбы заводит человека в тупик, делает его жестоким и озлобленным. Дичает он в одиночестве и словно бы перестает быть человеком в полном смысле слова, сами обстоятельства заставляют вести его нечеловеческий образ жизни.

Образ Спиридона привлекает глубоко запятой в нем исконной человечностью, живущей и в сознании его, и в эмоциях, и в инстинктах. Побеждает в нем добрая старая казачья песня, народный дух, отразившийся в творчестве народа. Последнее его сражение с Советской властью, проигранное им навсегда, — одна из лучших страниц книги, полная внутреннего смысла. Спиридону и его сотне легко можно было расстрелять преследовавших их казаков-чекистов, так как засе-

ли они как раз над ущельем, где ехали чекисты, разыскивавшие Спиридонову банду. Но запели чекисты старую казачью песню, полную грусти и скрытой доблести. Не мог Спиридон прервать песню — упустил противника, сам попал в его руки. Спасла песня Спиридона от братоубийства. Может быть, именно тогда понял он, что народ не убьешь, что дело врагов Советской власти проиграно, что допустил он страшную ошибку.

Дальнейший путь Спиридона дан довольно бегло, это расплата за свершенное, за то, что шел против народа. Та часть книги, где говорится о героических деяниях казаков, в том числе и Спиридона, во время Великой Отечественной войны, выписана не ровно. Есть тут отличные места. Например, бой с альпийскими стрелками, расстрел «эдельвейса». Снова живая жизнь в ее полноте. Но есть и мертвые схемы вроде Крастерры.

А вот конец Спиридона великолепен. Это последний мазок, дорисовавший портрет старого казака. Был им Спиридон, так и остался до последнего вздоха. Незадолго до смерти, гуляя по парку, испытал он странное чувство. «Вздрыгнул, еще не поняв, что произошло. Спустя мгновение увидел: среди девушек с челками, в коротеньких юбках, среди парней в стильных брючках в обтяжку... шел смуглый человек, посеребрённый временем, с горделивой посадкой плеч и головы. На сухом бледноватом лице чуть горбился крупный нос, темнели короткие усы. Под высоким лбом тяжелые, светлые глаза. Одет в кожаную куртку, плотно облегающую могучую спину, военные галифе и блестящие сапоги. На голове рыжего курпея кубанка с алым верхом... Казак. Он выделялся так разительно, что на него оглядывались. Заложив за спину руки с большими от работы пальцами, шел он не спеша, не замечая людей, будто виделись ему здесь камыши, кислая речушка и чудесные кони предков, открывшие соленые воды».

...Спиридон обошел все аллеи, но

казак исчез, как призрак первого поселенца, обходящего свои владения.

Действительно, не призрак ли это, в котором вдруг всплыло все то, что по-прежнему было мило сердцу Спиридона, давно и безоговорочно служившего Советской власти,— то, казачье, воспитанное традициями, передаваемое из поколения в поколение. Уж не элегия ли это? И не сам ли автор говорит словами своего героя? Или просто пахнуло на старого Спиридона «одуванчиковым запахом детства». И защемило невольно сердце. Или намек это на то; как много значат в жизни человека прочные, почитаемые традиции.

Сказавшееся и в образе Глеба, и в образе Спиридона некоторое расчленение того, что существовало в казачестве целостно — социального и сословного,— в какой-то мере создавало возможность односторонней трактовки характеров, а в итоге — какой-то, пусть и едва уловимой, идеализации ушедших в прошлое казачьих традиций. Этого бы не случилось, если бы крепче ощущал писатель те корни, отлично представлял все то, что воссоздавал на страницах романа, но и более разносторонне осмыслил. Как это часто получается, сила и слабость в художнике живут рядом. Стремление к художественной полноте иной раз оборачивается односторонностью, если видимое художнику заслонит сущее, то, что определяет самую суть явления.

Давно не узнать станицу... «У каждого колхозника новый дом, в котором давно не новость газ, электричество, телевизор, радио, бытовые машины, вода... Есть и стеклянный молокопровод в горах, о котором говорил Михей».

В целом путь казачества в революцию показан в книге исторически верно. История шла своим путем, граня и шлифуя человеческие судьбы. И все же каждая судьба, вбирая в себя историческое, оставалась неповторимой, как судьба Марии Синенкиной, Спиридона, Михея и Глеба Есауловых,

Антон Синенкина, Натальи Павловны Невзоровой, Дениса Коршакова и многих других.

За эту неповторимость судеб, за красочный быт, за искреннюю взволнованность автора полюбит читатель книгу «Молоко волчицы».

Т. БАТУРИНА.